



## РОЗАНОВ О СЕБЕ

### Ответы на анкету Нижегородской губернской ученой архивной комиссии

ФАМИЛИЯ:	<i>Розанов</i>
ИМЯ:	<i>Василий</i>
ОТЧЕСТВО:	<i>Васильевич</i>
ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО РОЖДЕНИЯ:	<i>1856 год, апрель<sup>1</sup></i>
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:	<i>Ветлуга, Костромской губ.</i>
ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ:	<i>Православное</i>
КТО БЫЛИ РОДИТЕЛИ:	<i>Отец мелкий чиновник лесного ведомства<sup>2</sup>, мать дворянка, урожденная Шишкина<sup>3</sup></i>

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОДА (ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ БЫЛИ ЛИ В РОДУ ВЫДАЮЩИЕСЯ В КАКОМ-ЛИБО ОТНОШЕНИИ ЛЮДИ?): *Не знаю дальше родителей, но дед был священником.*

Отца потерял 3-х лет (в Ветлуге или Варнавине), — и одновременно мать с 7-ю детьми переехала в Кострому ради воспитания детей. Здесь купила деревянный домик у Боровкова пруда. Только старшая сестра Вера<sup>4</sup> и старший брат Николай († директором Вяземской гимназии)<sup>5</sup> учились отлично; прочие — плохо или скверно. Также и я учился очень плохо. Не было ни учебников и никаких условий для учения. Мать два последних года жизни не вставала с постели, братья и другая сестра были «не работоспособны», и дом наш и вся семья разваливалась. Мать умерла, когда я был (оставшись на 2-й год) учеником 2-го класса. Нет сомнения, что я совершенно погиб бы, не «подбери» меня старший брат Николай, к этому времени как раз кончивший

Казанский университет. Он дал мне все средства образования и, словом, был отцом. Он был учителем и потом директором гимназии (в Симбирске, Нижнем, в Белом Смоленск<ой> губ<ернии>, в Вязьме). Он рано женился на пансионерке Нижегородского института благородных девиц, времени директрисы Остафьевой — Александре Степановне Троицкой, дочери нижегородского учителя. Эта замечательная по кротости и мягкости женщина была мне сущей матерью. От нее я не слышал не только грубого, но и жесткого слова. С братом же я ссорился, начиная с 5–6 класса гимназии: он был умеренный, ценил Н. Я. Данилевского и Каткова, уважал государство, любил свою нацию; в то же время зачитывался Маколеем, Гизо<sup>6</sup>, из наших — Грановским. Я же был «нигилист» во всех отношениях, и когда он раз сказал, что «и Бокль с Дрэпером<sup>7</sup> могут ошибаться», то я до того нагрубил ему, что был отделен в столе: мне выносили обед в мою комнату. Словом, все «обычно русское».

Учился я все время плоховато, запоем читая и скучая гимназией. Гимназия была отвратительна, «толстовская». Директор — знаменитый К. И. Садоков<sup>8</sup>, умница и отличный, в сущности, директор: но я безотчетно или, вернее, «бездоказательно» чувствовал его двуличие, всячески избегал — почему-то ненавидел, хотя он ничего вредного мне не сделал, ни же неприятного. Кончил я «едва-едва», — атеистом, (в душе) социалистом, и со страшным отвращением, кажется, ко всей действительности. Из всей действительности любил только книги. В университете (историческо-филологический факультет)<sup>9</sup> я беспричинно изменился: именно, я стал испытывать постоянную внутреннюю *скуку*, совершенно беспричинную и, позволю себе выразиться, — «скука родила во мне мудрость». Все рациональное, отчетливое, явное, позитивное стало мне скучно «Бог весть почему»: профессора, студенты, сам я, «свое все» (миросозерцание) — скучно и скучно. И книги уже я не так охотно и жадно читал, не «с такою надеждою». Учился тоже «так себе». Вообще, как и всегда потом, я почти не замечал «текущего» и «окружающего», из него лишь «поражаясь» чем-нибудь: а главное была... не то чтобы «энергичная внутренняя работа», для таковой не было матерьяла, вещества, а — вечная задумчивость, мечта, переходившая в безотчетное «внутреннее счастье» или обратно — в тоску.

Кончив — поступил учителем и к учительству относился, как ко всему: «Что-то течет вокруг меня: и все мне мешает думать». Уже с 1-го курса университета я перестал быть безбожником. И не преувеличивая скажу: Бог поселился во мне. С того времени и до этого, каковы бы ни были мои отношения к церкви

(изменившиеся совершенно с 1896–97 г.), что бы я ни делал, что бы ни говорил и ни писал, прямо или *в особенности косвенно*, я говорил и думал, собственно, только о Боге: так что Он занял всего меня, без какого-либо остатка, в то же время как-то оставив мысль свободною и энергичною в отношении других тем. Бог меня не теснил и не связывал: *я стыдился Его* (поступая или думая дурно), но никогда *не боялся, не пугался* (ада никогда не боялся). Я с величайшей любовью приносил Ему все, всякую мысль (да только о Нем и думал): как дитя, пошедшее в сад, приносит оттуда цветы, или фрукты, или дрова «в дом свой», отцу, матери, жене, детям: Бог был «дом» мой (исключительно меня одного, — хотя бы в то же время и для других «Бог», но это меня не интересовало и в это я не вдумывался), «все» мое, «родное мое». Так как в этом чувстве, что «Он — мой», я никогда не изменился (как грешен ни бывал), то и обратно во мне утвердилась вера, что «Бог меня никогда не оставит». Кажется, этому способствовало одно мое чувство, или особенность, какой в равной степени я ни у кого не встречал: скромность, как бы вытекающая у меня из совершенной потери *своей личности*. Уже много лет я не помню, чтобы когда-нибудь обижался на личную обиду: и когда от людей грубых (напр<имер>, романист Всеволод Соловьев<sup>10</sup>) мне приходилось испытывать чрезвычайные обиды, я не мог сердиться даже и в самую минуту обиды и потом долее 3-х дней не помнил, что *она была*. Это глубокое умаление своей личности у меня вытекало из тесноты отношения к Богу: «уничуждения» (деланного) во мне тоже нет; а я просто ничего не думал о себе, «сам» — просто неинтересная для меня вещь (как, впрочем, и весь мир), сравнительно с «родное—Бог—мой дом», «мой угол». С этим умалением своей личности (и личности целого мира) связаны (как я думаю и уверен) моя свобода и даже (может показаться) бесстыдство в литературе. Я «тоже ничего не думаю» и о писаниях своих, не ставлю их ни в какой особый «плюс», а главное — что бы ни случилось написать и что бы ни заговорили о написанном — с меня «как с гуся вода»: просто я ничего не чувствую. Я как бы заснул со своим «Богом» и сплю непробудным счастливым сном.

«Чувство Бога» продолжается у меня (без перерывов) с 1-го курса университета: но *характер чувства*, и, следов<ательно>, постижение Бога изменилось в 1896–97 г. в связи с переменою взглядов на: 1) пол, 2) брак, 3) семью, 4) отношение Нового и Ветхого Завета между собою. Но рубрики 1), 2) и 4) были в зависимости от крепчайшего *утверждения в семье*. Разные семейные коллизии сделали, что мне надо съехать с *почвы семьи, с камня*

*семьи*. Но тут уперлась вся моя личность, не гордым в себе, а именно *смиранным, простым, кротким*: это что-то «смирненное, простое и кроткое» и взбунтовалось во мне и побудило меня, такого «тихонького», восстать против самых великих и давних авторитетов. Если бы я боролся против них «гордостью ума» — я был бы давно побежден, разбит. Но «кротости» ничего нет сильнее в мире, кротость — непобедима: и как я-то *про себя знаю*, что во мне бунтует «тихий», «незаметный», «ничто»: то я и чувствую себя совершенно непобедимым, теперь и даже никогда.

Вообще, если разобраться во всех этих коллизиях подробно — и развернуть бы их в том, это была бы величайшая по интересу история, вовсе не биографического значения, а, так сказать, цивилизационного, историко-культурного. По разным причинам я думаю, что это «единственный раз» в истории случилось, и я не могу отделаться от чувства, что это — провиденциально.

Все время с 1-го курса университета я «думал», solo — «думал»: кончив курс, сел сейчас же за книгу «О понимании» (700 страниц) и написал ее в 4 года совершенно легко, ничего подготовительного не читавши и ни с кем о теме ее не говоривши. Я думаю, что такого «расцвета ума», как во время писания этой книги, — у меня уже никогда не повторялось. Сплошное рассуждение на 40 печатных листов — летящее, легкое, воздушное, счастливое для меня, сам сознаю — умное: это, я думаю, вообще нечасто в России. Встретить книга хоть какой-нибудь привет, — я бы на всю жизнь остался «философом». Но книга ничего не вызвала (она, однако, написана легко). Тогда я перешел к критике, публицистике: но все это было «не то». Это не настоящее мое: когда я в философии никогда не позволил бы себе «дурачиться», «шалить», в других областях это делаю; при постоянной, непрерывной серьезности, во мне есть много резвости и до известной степени во мне *застыл* мальчик и никогда не переходил в зрелый возраст. «Зрелых людей», «больших» — я и не люблю; они меня стесняют, и я просто ухожу в сторону. Никакого интереса с ними и от них не чувствую и не ожидаю. Любил я только стариков-старух и детей-юношей, не старше 26 лет. С прочими — «внешние отношения», квартира, стол, деньги, никакой умственной или сердечной связи (с «большими»).

Сотрудничал я в очень многих журналах и газетах<sup>11</sup>, — всегда без малейшего внимания к тому, какого они направления и кто их издает. Всегда относились ко мне хорошо. Только консерваторы не платили гонорара или задерживали его на долгие месяцы (Берг, Александров). Сотрудничая, я чуть-чуть прино-

ровлял статьи к журналу, единственно, чтобы «проходили» они: но существенно вообще никогда не поддавался в себе. Но от этого я любил одновременно во многих органах сотрудничать: «Одна часть души пройдет у Берга...». Мне ужасно надо было, существенно надо, протиснуть «часть души» в журналах радикальных: и в консервативнейший свой период, когда, оказывается, все либералы были возмущены мною, я попросил у Михайловского участия в «Русск<ом> богатстве»<sup>12</sup>. Я бы им написал действительно отличнейшие статьи о бюрократии и пролетариях (сам пролетарий — я их всегда любил). Михайловский отказал, сославшись: «Читатели бы очень удивились, увидав меня вместе с Вами в журнале». Мне же этого ничего не приходило в голову. Матерьяльно я чрезвычайно многим обязан Суворину<sup>13</sup>: *ни разу* он не навязал мне ни одной, ни разу не внушил ни одной статьи, не делал и попытки к этому, ни шага. С другой стороны, я никогда в жизни не брал авансов, — даже испытывая страшную нужду. Суворин (сколько понимаю), тоже ценит во мне нежадность: и как-то взаимно уважая и, кажется, любя друг друга (я его определенно люблю), — но и от него, кроме непрерывной ласки, ничего не видел за 10 лет), — хорошо устроились. Без его помощи, т. е. без сотрудничества в «Н<овом> вр<емени>», я вот теперь не мог бы даже отдать детей в школы: раньше хватало только на пропитание и квартиру, и жена в страшную петербургскую зиму ходила в меховой кофте, не имея пальто. Но моя прекрасная жена никогда ни на что не жаловалась, в горе — молчала, делилась только «хорошим»: и вообще должен заметить, что «путеводной звездой» моей жизни служила всегда эта 2-ая жена, женщина удивительного спокойствия и ясности души, соединенной с тихой и чисто русской экзальтацией. «Великое в молчании».

Статьи мои собраны в книгах<sup>14</sup>:

- 1) «Сумерки просвещения», 1899 г.
- 2) «Природа и история», 1899 г.
- 3) «Литературные очерки», 1900 г.
- 4) «Религия и культура» (два издания), 1900 г.
- 5) «Легенда о Великом Инквизиторе» Достоевского». Три издания.
- 6) «В мире неясного и нерешенного» (главная идейная книга). Два издания, 1904 г.
- 7) «Семейный вопрос в России», 2 тома, 1905 г.
- 8) «Около церковных стен», 2 тома, 1907 г.

- 9) «Ослабнувший фетиш», 1907 г.
- 10) «Место христианства в истории», 1901 г., брошюра.
- 11) «О декадентах», 1907 г., брошюра.
- 12) «Метафизика Аристотеля». Книги I–V. Перевод и комментарии в сотрудничестве с П. Д. Первовым (учитель гимназии в Ельце).

Служил сперва учителем истории и географии (Брянск, Елец, Белый), потом в Государственном контроле, потом — нигде. Служба была так же отвратительна для меня, как и гимназия. «Не ко двору корова» или «двор не по корове» — что-то из двух.

*В. Розанов*

